

У истоков «полтавы».

Расширенный анализ произведения

Как рождаются великие произведения искусства? На какой почве вырастают художественные замыслы, которые претворяются затем в гениальные образы, запоминающиеся миллионам людей? Разумеется, единообразного, стандартного ответа на подобные вопросы ждать нельзя. Бесспорным является, что каждое подлинно великое произведение искусства, помимо черт, обусловленных принадлежностью к определенной эпохе, определенному литературному направлению, методу, стилю и т. д., обладает своим индивидуально неповторимым художественным обликом. Без этого немыслимо никакое произведение искусства. Но естественно вместе с тем, что индивидуально неповторимы и пути создания таких творений. И как заманчива и увлекательна задача хотя бы «одним глазом» заглянуть в творческую лабораторию художника, с тем чтобы — пусть частично — разобраться в сложной и почти всегда скрытой от нас «предыстории» того великого, что им сделано! Как много это может дать исследователю и читателю!

Среди крупнейших произведений Пушкина особой своей судьбой выделяется написанная в 1828 году «Полтава». Спустя два года Пушкин дал к своей поэме чрезвычайно интересный комментарий в заметке, которую он напечатал затем с некоторыми сокращениями в альманахе «Денница» за 1831 год. С этого как раз мне и хотелось бы начать свой рассказ.

В заметке этой, с одной стороны, настойчиво подчеркивается зрелость «Полтавы». В художественном отношении Пушкин ставит ее гораздо выше, чем прежние свои поэмы. Но, по-видимому, такую высокую оценку в глазах поэта она заслужила не только чисто литературными своими достоинствами. Об этом свидетельствует, в частности, то особенное раздражение, с каким он встретил нападки на «Полтаву» реакционной части критики, — уже по самому тону его отповеди этим критикам чувствуется, как болезненно он был ими задет. Показательно, что для вящего их посрамления Пушкин собирался было — в черновом наброске своей заметки — сослаться даже на мнение литературных авторитетов (как будто для Надеждина или Булгарина оно могло иметь значение!): «Самая зрелая из всех моих стихотворных повестей, та, в которой все почти оригинально (а мы из этого только и бьемся, хоть это еще не главное), «Полтава», которую Жуковский, Гнедич, Дельвиг, Вяземский предпочитают всему, что я до сих пор ни написал, «Полтава» не имела успеха».

С другой стороны, в пушкинской заметке о «Полтаве» обращает на себя внимание заключительная ее фраза, в окончательный текст не вошедшая: «Полтаву» написал я в несколько дней, далее не мог бы ею ■заниматься и бросил бы все». Это как бы непроизвольно вырвавшееся признание, понятно, содержит лишь намек на то, в какой творческой атмосфере создавалась «Полтава», но намек в высшей степени красноречивый.

Разумеется, понимать Пушкина чересчур уж буквально было бы неправильно: «несколько дней» продолжались примерно недели три. Первая песнь «Полтавы» была закончена 3 октября, вторая — 9 октября и третья — 16 октября 1828 года; на одном же из первоначальных набросков первой песни стоит дата «5 апр[еля]». Но общей картины необыкновенного творческого волнения, в каком вырастала «Полтава», эти уточнения не меняют. Она подтверждается и показаниями современников—дневниками А. Н. Вульфа и, еще более, воспоминаниями М. В. Юзефовича, который со слов самого поэта очень живо описал, как Пушкин работал над своей поэмой.

«Это было в Петербурге, — вспоминал мемуарист. — Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало и убегал домой, чтоб записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом, слагались у него сотни стихов в сутки.

Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего разобрать: над зачеркнутыми строками было по несколько рядов зачеркнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места. Несмотря, однакож, на такую работу, он кончил «Полтаву», помнится, в три недели»¹.

В свое время напряженность, с которой писалась «Полтава», пытались объяснить тем, что Пушкину якобы нужно было написать такое произведение (как «благодарность государю за оказанное покровительство») и он — сознательно или бессознательно — принуждал себя над ним работать. Вряд ли имеется сейчас необходимость в развернутой полемике с этой точкой зрения, хотя бы и соответственно модернизированной. Если даже и допустить, что столь выдающееся произведение, как «Полтава», могло возникнуть под давлением такого рода соображений, и если этим объяснять, что Пушкин должен был написать свою поэму в «несколько дней» (так как далее, подразумевается, должно быть, он не в состоянии был бы выдержать подобного насилия над собой), — если принять все эти предположения, рисующие, к слову сказать, великого поэта в крайне сомнительном свете, то совершенно непонятным будет, почему же Пушкин так ценил «Полтаву» и так негодовал на отношение к ней критики. Надо полагать, следовательно, что последние строки пушкинской заметки должны быть осмыслены совсем по-другому.

Особое душевное состояние Пушкина во время создания «Полтавы», не позволившее ему работать над этим произведением с такою же тщательностью и неторопливостью, как, скажем, над «Борисом Годуновым» или «Евгением Онегиным», является фактом бесспорным. Однако это особое состояние Пушкина, как мы видели, нисколько не помешало ему создать произведение, отличающееся высокими художественными качествами, признанное высшим судом взыскательного художника и — что в данном случае особенно важно — несущее на себе печать зрелости. Естественно, что в этой связи встает вопрос о путях Пушкина к достижению зрелости, которая, очевидно, определяется не просто ростом поэтического мастерства, а требует затраты огромных душевных сил, достигается ценой мучительных подчас переживаний. Само собой разумеется, что для более глубокого понимания «Полтавы» отнюдь не безразлично знание обстоятельств, при которых (и благодаря которым) эта замечательная поэма была написана.

Ставя таким образом вопрос о «Полтаве», мы вступаем, без сомнения, в область психологии творчества. Нельзя не заметить, что к изучению психологии творчества до сих пор относятся с известным предубеждением, памятуя, по-видимому, о печальном опыте Гершензона и ему подобных. Но в историко-литературном исследовании без такого изучения сплошь и рядом обойтись невозможно — в случае же с «Полтавой» оно прямо подсказывается материалом. Понятно, для того чтобы оказаться плодотворным, изучение психологии творчества должно быть теснейшим образом увязано и с изучением текста, и с изучением мирозерцания поэта, и с анализом той общественной обстановки, в которой живет и творит поэт.

Чем точнее удастся установить, какой сложный путь подвел Пушкина к «Полтаве», тем яснее станут причины необычайной творческой взволнованности Пушкина сюжетом, легшим в её основу, и то, что Пушкин хотел сказать и сказал своей поэмой» К какому времени относится зарождение замысла «Полтавы»? Сам Пушкин, как известно, первую мысль о «Полтаве» связывал со своими впечатлениями от «Войнаровского» К. Ф. Рылеева, в частности от образа Мазепы в этой поэме:

«Прочитав в первый раз в «Войнаровском» сии стихи:
Жену страдальца Кочубея
И обольщенную им дочь,

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства.

Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальной. Но в описании Мазепы пропустить столь разительную историческую черту было еще непростительнее».

Некоторые отрывки из «Войнаровского» были напечатаны впервые в 1824 году (в альманахе «Полярная звезда», «Сыне Отечества» и «Соревнователе просвещения») и тогда же получили чрезвычайно высокую оценку Пушкина (в письмах к А. А. Бестужеву и брату Льву Сергеевичу); однако двустихия, цитированного Пушкиным, мы в этих отрывках не находим, оно появляется лишь в отдельном издании «Войнаровского», вышедшем в марте 1825 года.

Пушкин получил это издание 7 апреля 1825 года и вскоре же сообщил Рылееву свои замечания о поэме— сперва через Дельвига, навестившего в это время Пушкина в Михайловском, а затем, после отъезда Дельвига, и письменно. Эти не дошедшие до нас замечания 1 были, по-видимому, преимущественно критического характера, что видно, между прочим, из пушкинского письма к Рылееву, написанного во второй половине мая 1825 года: «Думаю, ты уже получил замечания мои на «Войнаровского». Прибавлю одно: везде, где я ничего не сказал, должно подразумевать похвалу, знаки восклицания, прекрасно и проч. Полагая, что хорошее писано тобою с умыслу, не счел я за нужное отмечать его для тебя»

Сообщил ли Пушкин Рылееву свое мнение относительно «разительной черты», пропущенной последним в описании Мазепы? Для исследователя «Полтавы» вопрос этот представляет немалый интерес. К сожалению, с полной уверенностью ответить на него нельзя; однако кое-какие косвенные данные позволяют предположить, что Рылееву были известны соображения Пушкина по поводу Мазепы и его отношения к дочери Кочубея.

Сохранилось несколько чзрных набросков и планов Рылеева, посвященных Мазепе. Для нашей темы особое значение имеют план пьесы и программа, еще в 1888 году опубликованные (не вполне исправно) В. Е. Якушкиным¹ 2, и второй, более полный план драматического произведения, появившийся в печати лишь в 1938 году³.

Трактовка Рылеевым образа Мазепы в этих отрывках, как не раз отмечали комментаторы, чрезвычайно близка к трактовке его же образа в «Полтаве» Пушкина. Но на объяснении причин такой близости комментаторы не останавливались, хотя она весьма примечательна: ведь в «Войнаровском» Мазепа изображен совсем в другом свете, чем в «Полтаве».

«Для Мазепы, — читаем мы в заметке Рылеева,— кажется, ничего не было священным, кроме цели, к которой стремился: ни уважение, оказываемое ему Петром, ни самые благодеяния, излитые на него сим великим монархом, ничто не могло отвратить его от измены. Хитрость в высочайшей степени, даже самое коварство почитал он средствами, дозволенными на пути к оной».

Аналогичная характеристика Мазепы дана в плане, опубликованном Якушкиным:

«Мазепа. Гетман Малороссии. Угрюмый семидесятилетний старец. Человек властолюбивый и хитрый; великий лицемер, скрывающий свои злые намерения под желанием блага родине».

В этом же плане упоминаются:

«Кочубей. Мстительный человек.

Любовь. Жена его. Твердая и благородная женщина.

Матрена. Дочь их. Любовница Мазепы. Пылкая девушка».

И далее:

«Войнаровский. Племянник Мазепы. Пылкий благородный молодой человек».

Наибольший интерес, однако, представляет для нас второй план драмы о Мазепе (опубликованный впервые в 1938 году Н. П. Чулковым). Бросается в глаза не только идейная, но и сюжетная близость этого плана к пушкинской «Полтаве» — особенно в части, касающейся романтической линии поэмы. Приводим поэтому план Рылеева полностью.

«Пролог. Пиршество в Москве у Петра. Спор его с Мазепой. Мазепа получил оплеуху.

I. Сцена. Мазепа ожидает Зеленского. Приход его, тайная их беседа.

II. Сцена. Пиршество у Мазепы. Он старается напоить полковников и выведать их мысли; он намекает о своем намерении отложиться от москалей; Кочубей не может скрыть своей радости. Мазепа замечает ее.

III. Сцена. Кочубей открывает Искре о намерении своем донести на Мазепу и тем отомстить ему. Они, наконец, соглашаются.

IV. Сцена. Кочубей с женою ожидают кого-то. Стук у., дверей. Входит поп Святаило; сцена с ним. Проклятие дочери.

V. Сцена. Мазепа приводит в движение пружины свои. Беседа его с Войнаровским. VI. Сцена. Собрание у Кочубея врагов Мазепы; он отправляется в Москву. Мазепа при конце своего намерения вдруг узнает от дочери Кочубея, что существует против его заговор, что Кочубей донес на него через дочь Кочубея («через дочь Кочубея» — означает, должно быть, «из-за дочери Кочубея», — Г. [У7.]), Известие подтверждается неизвестным. Смятение.

VII. Суд над Кочубеем и Искрою. Сцена дочери с отцом. Просьбы ее к Мазепе пощадить отца., Казнь их.

VIII. Взятие Батурина. Лагерь под Полтавой.

IX. Мазепа в Бендерах. Смерть его. Разговор запорожцев и сердюков».

Новый вариант того же замысла записан Рылеевым на оборотной стороне листа, причем запись сделана явно непоследовательно, — последняя строка плана по смыслу должна начинать перечень событий:

«I. Матрена Кочубеева в темнице у отца, она пришла освободить его. Тот проклинает ее. Казнь.

1. Разговор запорожцев.

2. Сцена ее с Мазепой. Она теряет рассудком.

3. Кочубеева при ешафоте или при могиле отца. Мазепа проходит. Она в помешательстве ума принимает ешафот за алтарь; и просит Мазепу обвенчаться. Смятение Мазепы. Она пляшет вокруг ешафота и поет. Ее схватывают. Лагерь Мазепы. Разговор Мазепы и Войнаровского. Он получает известие, что Кочубеева скрылась. Выступление. Песни. Начинается буря; Днепр волнуется. Молния сверкает часто, и гремит гром, на возвышении появляется Кочубеева. Монолог. Она бросается в Днепр.

Слепец-бандурист поет песню Мазепы.

Злоумышленники у Мазепы. Привозят Кочубея; Мазепа один борется. Суд».

О времени написания как этого, так и других набросков Рылеева точных сведений нет. Но скорее всего они написаны после окончания «Войнаровского». То обстоятельство, что племянник Мазепы фигурирует во всех вариантах плана драмы, хотя для развертывания ее сюжета он совершенно не обязателен, нельзя не признать симптоматичным. Очевидно, Рылееву важно было указать на связь между двумя своими произведениями — уже написанным «Война-ровским» и еще только задуманным «Мазепою». Отметим, что Пушкин в «Полтаве» также упомянул Войнаровского, по сюжету ему не нужного, подчеркнув тем самым связь своей поэмы с поэмой Рылеева.

Сходится ли, однако, такая датировка планов Рылеева с тем, что нам известно относительно эволюции его взглядов на Мазепу? Известный исследователь творчества Рылеева В. И. Маслов дает в своей книге «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева» иную датировку этих планов. Охарактеризовав образ Мазепы в «Войнаровском» как образ бесспорно положительный, Маслов пишет далее, ссылаясь на думу «Петр Великий в Острогжске»: «Первоначально (до создания «Войнаровского». — Г. Л.) поэт, по-видимо-му, держался противоположного взгляда на Мазепу: в думе «Петр Великий в Острогжске» (1823 г.) он относится к нему подозрительно, называет «свирепым вождем» и упрекает, как этот гетман «смел клясться в искренности» Петру I. Недружелюбное отношение видно и в некоторых черновых набросках и планах Рылеева; но постепенно... эта точка зрения на Мазепу стала сменяться, и последний из «хитрого и властолюбивого лицемера» превратился в глазах Рылеева в искреннего патриота и защитника свободы своей родины» *.

Изображенная Масловым смена взглядов на Мазепу основана на недоразумении: дума и поэма Рылеева вовсе не принадлежат к разновременным периодам его творчества; напротив, они задуманы были, а отчасти и осуществлены, одновременно. В мае 1823 года Рылеев представил Вольному обществу любителей российской словесности думу «Первое свидание Петра Великого с Мазепою» (первоначальное название «Петра Великого в Острогжске») и начало поэмы «Войнаровский», выразительно озаглавленное «Ссылный».

Преувеличено Масловым и различие в отношении Рылеева к Мазепе в думе и в поэме: ни о какой противоположности рылеевских оценок говорить тут не приходится. Если в «Петре Великом в Острогжске» дана безусловно отрицательная характеристика Мазепы, то в «Войнаровском» дается лишь условно положительная характеристика украинского гетмана, Войнаровский говорит о нем в поэме:

Не знаю я, хотел ли он

Спасти от бед Народ Украины

Иль в ней себе воздвигнуть трон, —

Мне гетман не открыл сей тайны.

Ко нраву хитрого вождя

Успел я в десять лет привыкнуть;

Но никогда не в силах я

Был замыслов его проникнуть.

Он скрытен был от юных дней,

И, странник, повторю: не знаю,

Что в глубине души своей

Готовил он родному краю.

Таким образом, идеализацию Мазепы в «Войнаровском» вряд ли следует рассматривать как поэтическое выражение подлинных исторических воззрений Рылеева. Но, понятно, такой подход к историческим фактам, когда ради нужного автору вывода, ради «нравоучения» они произвольно изменяются и искажаются, должен был вызвать критику Пушкина. Слишком «свободное» обращение с историей вызвало возражения и со стороны некоторых других современников Рылеева, в частности П. А. Катенина, заметившего в письме к Н. И. Бахтину от 26 апреля 1825 года: «всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катеном» *.

Рылеев чутко прислушивался к критике Пушкина, хотя и признавался (в письме от 12 мая 1825 года), что об ином ему «хочется поспорить...». Благодаря Пушкина за его «прямодушные замечания на Войнаровского», Рылеев в первой половине июня 1825 года писал: «Ты во многом прав совершенно...» Вообще нельзя ни в коем случае забывать, что развитие Рылеева как поэта было прервано его преждевременной смертью и потому не выявилось с достаточной определенностью. Но несомненно, что шло оно от обнаженной «гражданственности» осмеянных Пушкиным дум, с их прямолинейно тенденциозным использованием исторических фактов в пропагандистских целях, — к исторически достоверной и психологически правдивой героической поэме и драме. «Войнаровский» — только этап на далеко не завершенном, вернее даже лишь начатом пути поэта-декабриста. Воздействие Пушкина на Рылеева в этом плане, как нам кажется, не может быть оспорено. Вполне вероятно, что именно замечания Пушкина на «Войнаровского» побудили Рылеева вновь возвратиться к образу Мазепы и попытаться воссоздать его в соответствии с данными истории.

Что же касается поразящего сходства ряда моментов в планах Рылеева и в «Полтаве» Пушкина, то проще и естественнее всего такое сходство объяснить прямым влиянием пушкинских замечаний, в которых указывалось на упущенные Рылеевым художественные возможности. Если дело действительно обстояло так, то получается, что в апреле 1825 года у Пушкина не только появилась первая мысль о «Полтаве», точнее — о ее романической линии; получается также, что эта мысль высказывалась им, и притом в весьма развернутом виде.

Но как бы то ни было, в творчестве Пушкина мотив этот сперва отражения не получил. К разработке сюжета о Мазепе и Марии Кочубей он обратился лишь тогда, когда для него стал художественно актуальным образ Петра I.

II

Уже в первом своем отклике на «Войнаровского», в письме к А. А. Бестужеву от 12 января 1824 года, Пушкин указывал, что «Рылеева «Войнаровский» несравненно лучше всех его «Дум», слог его возмужал и становится истинно-повествовательным, чего у нас почти еще нет». Аналогичные высказывания мы находим также и в пушкинских письмах 1825 года.

Трудно, однако, допустить, чтобы Пушкин уделял столько внимания поэме Рылеева, руководствуясь одними только литературными соображениями и интересами. «Войнаровский» бесспорно произведение талантливое, но бесспорно вместе с тем и то, что оно не отличается большой поэтической самостоятельностью. Одному из корреспондентов Пушкина, не только строгому, но и придирчивому Н. Н. Раевскому-сыну, подражательные элементы в «Войнаровском» дали даже повод заявить (в письме от 10 мая 1825 года), что «Войнаровский est un ouvrage en mosaïque compose de fragments de Byron et de Пушкин...» («Войнаровский» — произведение мозаичное, составленное из кусочков Байрона и Пушкина»). Возникает поэтому вопрос: не затронул ли «Войнаровский» Пушкина более остро, более — если позволительно так выразиться — интимно? Нет ли в «Войнаровском» чего-либо, что было бы созвучно тем размышлениям и переживаниям, которые волновали Пушкина в 1824—1825 годах?

Следует учесть здесь одну особенность Пушкина: он очень часто и чрезвычайно легко проводил параллели между своим собственным положением и положением людей, так или иначе заинтересовавших его, будь то личные его знакомые или же исторические личности. По справедливому замечанию одного исследователя, Пушкин охотно «примеривал» на себя чужие судьбы *. Но при этом поэт ни в какой мере не отождествлял себя с теми, с кем он себя, подчас крайне настойчиво, ассоциировал.

Особенно много материала для подобных ассоциаций давали «неправые гоненья», жертвой которых Пушкин был в продолжение чуть ли не всей своей сознательной жизни. Еще в бытность свою в Одессе Пушкин рассматривал себя как «ссылочного невольника» (выражение в письме к А. И. Казначееву от 22 мая 1824 года). Но, разумеется, ссылка в Михайловское была для него несравненно тяжелее одесской ссылки. «Михайловское душно для меня», «я бешусь», «были бы вы (чего боже избави) на моем месте, так может быть пуще моего взбеленились», «мочи нет хочется к Вам», «проклятое Михайловское», «мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство» — то и дело мелькает в его письмах друзьям. Изображение ссылки Войнаровского в поэме Рылеева не могло при таких обстоятельствах не вызвать у Пушкина множества ассоциаций, имевших непосредственное касательство к его михайловской ссылке.

Известно, что едва ли не больше всего Пушкину понравилась в «Войнаровском» сцена с палачом. «У него (т. е. у Рылеева. — Г. Л.), — писал Вяземскому 25 мая 1825 года Пушкин, — есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал». Н. А. Бестужеву, который видел замечания Пушкина на «Войнаровского», запомнилась выразительная надпись, сделанная поэтом на полях книги, против эпизода с палачом: «Продай мне этот стих!» 1 Но о палаче Пушкин думал порой, в Михайловском не только как о персонаже художественного произведения. В конце октября 1824 года между Пушкиным и его отцом, Сергеем Львовичем, произошло исключительно резкое столкновение, в результате которого Пушкин решил просить о переводе его в одну из крепостей. Уже когда это дело улеглось, 29 ноября 1824 года, поэт писал Жуковскому: «Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу; но что мне было делать? я сослан за строчку глупого письма, что было бы, если правительство узнало бы обвинение отца? это пахнет палачом и каторгою».

Такая настроенность Пушкина должна была, безусловно, отразиться на восприятии им «Войнаровского». О достоинствах и недостатках поэмы Рылеева, о правдоподобии и «истинности» ее образов Пушкин судил не только исходя из определенных литературных принципов, опираясь на определенные исторические концепции, — он основывался в своих суждениях также на том, что было им самим пережито и что, будучи освещено творческой мыслью, получало затем общее значение. Мыслях и чувствах, которыми Пушкин был охвачен в то время, когда он читал и перечитывал «Войнаровского», — в детальных замечаниях фиксируя свое отношение к этой поэме, — наглядно свидетельствует его поэтическая работа. Он был занят весной и в начале лета 1825 года в основном двумя произведениями: во-первых, он продолжал работать над трагедией «Борис Годунов» (начатой в конце

1824 года); во-вторых, он написал — не раньше апреля и не позднее июня 1825 года — элегию «Андрей Шенье». На этой элегии необходимо остановиться подробнее, так как произведение это носит, несомненно, автобиографический характер.

Как известно, Андре Шенье — поэт, с которым Пушкин сопоставлял себя неоднократно. Но очень важно подчеркнуть, что сопоставление это шло отнюдь не в литературном плане. О литературных позициях Шенье Пушкин 5 июля 1824 года писал: «Никто более меня не любит прелестного Andre Chenier — но он из классиков классик — от него так и несет древней греческой поэзией»; «романтизма в нем нет еще ни капли», — говорится в черновом письме к Вяземскому от 4 ноября 1823 года. Сопоставлял себя Пушкин с Шенье потому, что считал свою судьбу, свою политическую биографию сходными с судьбой и политической биографией французского поэта. Недвусмысленно это выявлено в письмах к тому же Вяземскому от ноября 1825 года и мая 1826

года: «Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: «Il y avait quelque chose là...¹ извини эту поэтическую похвальбу и прозаическую хандру»; «Как же ты можешь дивиться моему упрямству и приверженности к настоящему положению? — Счастливее, чем Андрей Шенье, — я заживо слышу голос вдохновения». О том, что именно Пушкин хотел сказать своей элегией, явствует его письмо к Вяземскому от 13 июля

1825 года: «Читал ты моего «А. Шенье в темнице»? Суди об нем, как езуит — по намерению». «Андрей Шенье», следовательно, — это вытекает из признания самого автора, — произведение двухплановое, причем второй, скрытый план его имеет, очевидно, для поэта большее значение, чем первый, явный.

Непосредственное политическое содержание элегии в особых комментариях не нуждается. Как и всюду у Пушкина, безусловное принятие и высокая оценка Великой французской революции сочетаются в ней с полным непониманием и резким отрицанием якобинской диктатуры. Такое отношение к французской революции характерно было и для большинства декабристов (см. хотя бы в письме П. Г. Каховского к генерал-адъютанту Левашеву, фактически предназначенном для Николая I: «Революция Франции, столь благотельно начатая, к несчастью наконец превратилась из законной в преступную. Но не народ был сему виною, а пронырства дворов и политики»¹). К убеждению, что «тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами прекраснородной Жиронды, а террористами— обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов», пришло лишь следующее поколение— поколение Белинского².

Но, изображая якобинцев врагами «вольности» и «закона», Пушкин в то же время настойчиво уподоблял их представителям русского самодержавия. Этой аналогии он оставался верен и в двадцатых и в тридцатых годах. Ею следует объяснить, в частности, и крылатое словцо Пушкина, который в 1834 году, в разговоре с великим князем Михаилом Павловичем, с нескрываемой иронией заявил своему изумленному собеседнику: «Все Романовы революционеры и уравниатели» («tous les Romanof sont revolutionnaires et niveleurs»). Несомненно, что здесь говорится о революционерах якобинского типа; это подтверждается и ответом Михаила Павловича: «Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы! благодарю, *voilà une reputation que me manquait*» («...вот репутация, которой мне недоставало»),

В «Андрее Шенье» расшифровать намеки на русскую действительность для читателя, хоть сколько-нибудь знакомого с иносказаниями вольнолюбивой поэзии двадцатых годов прошлого века, большого труда не составляет. Знаменитые строки:

Где вольность и закон? Над нами

Единый властвует топор.

Мы свергнули царей. Убийцу с палачами

Избрали мы в цари. О ужас! о позор! —

доставившие Пушкину столько неприятностей (так как после восстания декабристов их удалось очень легко и очень убедительно применить к Николаю и его окружению), целят, конечно, не только в Робеспьера и конвент. Эти строки, о чем говорилось уже в пушкиноведении, прямо адресованы Александру I и указывают на конкретные обстоятельства его «избрания» в цари. Убийцей Александр назван потому, что он являлся в глазах Пушкина отцеубийцей; палачами его приближенные названы потому, что их руками было осуществлено убийство Павла I. Что такое толкование пушкинской элегии не является произвольным, показывает письмо поэта к П. А. Плетневу от 4—6 декабря 1825 года, написанное сразу же после получения известия о неожиданной и загадочной смерти Александра в Таганроге: «Душа! я пророк, ей-богу пророк! Я

«Андрея Шенье» велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына etc.»¹. Единственное «пророчество» в элегии — это возглас Шенье:

Падешь, тиран!

Наиболее ясно раскрыл Пушкин, кого он имеет в виду, в том месте элегии, где А. Шенье обращается к самому себе со словами:

Умолкни, ропот малодушный!

Гордись и радуйся, поэт:

Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;

Ты презрел мощного злодея;

Твой светоч, грозно пламенея,

Жестоким блеском озарил Совет правителей бесславных;

Твой бич настигнул их, казнил Сих палачей самодержавных;

Твой стих свистал по их главам;

Ты звал на них, ты славил Немезиду;

Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду!

Пел кинжал, как известно, не только Шенье, но и Пушкин; сознательное, бьющее в глаза заимствование отдельных выражений и оборотов из пушкинского «Кинжала» должно было подсказать читателю, от чьего имени (и по чьему адресу) идут на самом деле процитированные только что строки.

Таким образом, в основе своей, «по намерению» автора, «Андрей Шенье» является произведением не только и не столько о Франции конца XVIII века, сколько с России последних лет царствования Александра I. Поэт, выведенный в этом произведении, — не только и не столько Андре Шенье, выступивший против «Маратовых жрецов», сколько сам Пушкин, в цензурно неуязвимой форме заявивший о своем непримиримо враждебном отношении к русскому самодержавию. Но сопоставление с Шенье и параллель между Романовыми и якобинцами нужны были Пушкину не для того лишь, чтобы получить возможность в гневных, страстных стихах обрушиться на Александра I и «ареопаг остервенелый» царских сановников и временщиков. Сближая себя с Андре Шенье и рисуя последние часы ожидающего казни французского поэта, Пушкин тем самым — впервые в своем творчестве — отчетливо показал, что он и для себя не считает исключенными плаху и палача. Отсюда — особая эмоциональная окрашенность элегии

III

Свою оценку личности и деятельности Петра I Пушкин дал впервые в так называемых «Заметках по русской истории XVIII века» 1822 года. Он охарактеризовал тогда Петра как «северного исполина», который «не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Однако до воцарения Николая I Петр, по-видимому, особого внимания Пушкина не привлекал. Творческое воображение его занимали в этот период совсем другие страницы русской истории, связанные с Вадимом, вещим Олегом, Владимиром и Мстиславом, Борисом Годуновым и Григорием Отрепьевым, Степаном Разиным и Емельяном Пугачевым.

Характерное письмо отправил Пушкин 23 февраля 1825 года Н. И. Гнедичу: «Я жду от Вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается не воспетая, писали Вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит поэту».

Насколько продуман был этот перечень Пушкиным, показывает писавшая им много лет спустя поэма «Езерский». В ней повторяются все те же имена: Кто б ни был ваш родоначальник,

Мстислав Удалий, иль Ермак,

Или Митюшка целовальник,

Вам все равно...

и ниже:

Мне жаль, что нет князей Пожарских...

Исторические интересы Пушкина, как мы видим, уже в додекабрьский период были необычайно широки и многообразны. Но Петр одним из любимейших его исторических героев стал, тем не менее, только в царствование Николая.

Такой поворот к Петру после 1825 года наблюдался далеко не только у одного Пушкина. Вторая половина двадцатых годов прошлого века вообще характеризуется огромным усилением общественного внимания к колоссальной фигуре Петра со стороны передовых русских людей, недовольных положением дел в тогдашней Российской империи.

Разгром восстания 14 декабря подорвал веру многих сторонников идей декабризма в возможность революционного преобразования России. Средства заговорщиков оказались слишком ничтожными по сравнению с «необъятной силой правительства» (выражение Пушкина в поданной Николаю I записке «О народном воспитании»). Но это не означает, что декабристы и близкие к ним круги совершенно отказались от мысли о хотя бы частичном претворении в жизнь своих программных требований. Многие декабристы, посаженные в Петропавловскую крепость Николаем I, принялись усердно убеждать нового императора в настоятельной необходимости серьезных реформ, в гибельности для России политики Александра I.

Декабристы в своих показаниях, и особенно в своих письмах к Николаю I самым резким образом отзывались относительно его предшественника. Барон В. И. Штейнгель 11 января 1826 года писал Николаю: «В высочайшем Манифесте о восшествии Вашем на престол, как бы в утешение народа, сказано, что Ваше Царствование будет продолжением предыдущего. О, Государь! ужели сокрыто от Вас, что эта самая мысль страшила всех и что одна токмо общая уверенность в неперменной перемене порядка вещей говорила в пользу Цесаревича»¹. В еще более определенных выражениях писал Николаю 19 марта и 4 апреля 1826 года П. Г. Каховский: «Император Александр много нанес нам бедствия, и он собственно причина восстания 14 декабря»¹. «Я решаюсь высказать пред Вашим Величеством молву общую о покойном Государе Императоре... Покойному Императору какой-то злой гений оклеветал его добрый народ... Кто сличит образ правления первых лет его царствования с последними годами, тот в одном и том же Императоре найдет совершенно различных двух людей»^{1 2}.

Как видно из этих писем (и из других документов), когда Пушкин в 20-х числах января 1826 года писал Жуковскому об Александре: «я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба», — он лишь разделял «общую молву» передовых людей своего времени.

Декабристы предложили Николаю I целый ряд проектов по улучшению и переустройству государственного механизма России. Они питали, в особенности до суда над ними, немало иллюзий относительно действительных намерений Николая. Возникновению этих иллюзий

(свидетельствующих, конечно, прежде всего о недостаточной идейной стойкости и политической последовательности, вполне естественных у декабристов, как дворянских революционеров) способствовал тот факт, что Николай, «царь-актер», по картинному определению П. Е. Щеголева³, при допросах некоторых из заключенных прикидывался чуть ли не их единомышленником. Так, например, Каховскому он заявил: «Я сам есть первый гражданин отечества»⁴. Не удивительно, что при таких условиях многие декабристы стали надеяться, что Николай I пойдет по другому пути, чем Александр I.

Вот откуда в их письмах настойчивые ссылки на выдающихся деятелей прошлого, на идеальных — по представлениям того времени — правителей государства. Каховский призывал Николая: «Вспомните, Государь, Ярослава Великого»¹. Но чаще, понятно, декабристам вспоминался образ «беспримерного из царей гениального Петра»². Штейнгель в цитированном выше письме, ссылаясь на слова Александра I об отсутствии людей для «устройства гражданской части», подчеркивал: «Вашему гению предлежит, подобно Петру, Екатерине, найти людей, вложить в них душу и соделать сопричастниками будущей Вашей славы»³. А. М. Булатов в письме от 25 декабря 1825 года, адресованном великому князю Михаилу Павловичу, прямо указывал: «...пусть государь берет пример с Петра Великого...», предсказывая, что «тогда никакая буря не потрясет трона его, имя Николая 1-го превзойдет Петра и Екатерины Великих и благоденствует Россия!»⁴. Чрезвычайно характерное письмо написал Николаю А. А. Бестужев: «...мне отраднее теперь верить благости путей Провидения... Я не сомневаюсь по некоторым признакам, проникнувшим в темницу мою (подчеркнуто мной. — Г. Л.), что Ваше Императорское Величество посланы Им залечить беды России, успокоить, направить на благо брожение умов и возвеличить отечество. Я уверен, что Небо даровало в Вас другого Петра Великого... более чем Петра, ибо в наш век и с Вашими способностями, Государь, быть им — мало»⁵. Верноподданнический тон этих нарочито восторженных фраз не должен затемнить в наших глазах подлинного их смысла: «другим Петром Великим» Николай признается лишь в том случае, если он «направит на благо брожение умов» и «возвеличит отечество», то есть, подобно Петру, примется за огромную работу по преобразованию России, совершаемую, разумеется, в желательном декабристам плане.

Пушкин не знал и не мог знать об этих письмах декабристов к Николаю I. Однако его знаменитые «Стансы» 1826 года порождены тем же, в сущности, кругом идей и настроений, что и письма декабристов. Так же как и они, «в надежде славы и добра», Пушкин указывал Николаю на пример Петра. Но у находившегося на свободе поэта, потрясенного каторгой «120 друзей, братьев, товарищей»¹, прибавляется еще один, крайне важный для него момент: в образ Петра он вводил как существеннейшую черту его характеристики то, что Петр был «памятью... незлобен». Действительная степень петровской незлобivosti при этом, без сомнения, сознательно преувеличивалась.

К 1827 году относится новый замысел Пушкина, посвященный Петру, о котором мы знаем из переписки Н. М. Языкова, видного поэта пушкинской поры. 4 октября 1827 года он писал брату, П. М. Языкову: «Пушкин теперь в своей деревне: пишет историю Петра I и Александра I»². Но в письме к А. Н. Вульфу от 13 октября 1827 года мы находим не утверждение, а вопрос: «Правда ли и что значит, что Пушкин пишет историю Петра I и Александра I?»³ Наконец, тот же вопрос задается 20 ноября 1827 года в письме к другому брату, А. М. Языкову: «Правда ли, что Пушкин сочиняет историю Петра 1-го?»⁴

Переписка Языкова проливает новый свет на слова Пушкина, воспроизведенные А. Н. Вульфом в известной дневниковой записи от 16 сентября 1827 года: «Я непременно напишу историю Петра, а Александрову — пером Курбского»⁵. Ясно, что слова о «пере Курбского» к истории Петра отношения не имеют. Более того: настойчиво повторяющаяся в письмах Языкова формулировка «Пушкин пишет историю Петра I и Александра I», основанная на каких-то дошедших до него слухах, в соединении со всем, что сказано выше, заставляет зерно замысла Пушкина видеть именно в противопоставлении Петра и Александра, как различного типа исторических и политических деятелей.

Замысел этот не был реализован, и никаких следов от него в бумагах Пушкина не сохранилось. Это и понятно: работа такого рода не только носила явно нецензурный характер, даже держать ее у себя поэту было небезопасно. Но иметь в виду, что у Пушкина такой замысел был, при рассмотрении его взглядов на Петра, разумеется, необходимо.

Значительную роль в развитии пушкинских взглядов на Петра сыграла, несомненно, знаменитая беседа его с Мицкевичем у монумента Фальконе в Петербурге в 1828 году. Несколько позднее, в начале тридцатых годов, Мицкевич описал эту знаменательную беседу в стихотворении «Памятник Петру Великому». Пушкин откликнулся на стихотворение Мицкевича в «Медном всаднике», где, не вступая в прямую полемику, дал свою трактовку образа Петра, в корне отличную от трактовки польского поэта.

Свою страстную ненависть к русскому царизму — ненависть к Александру I и Николаю I, как носителям мертвящей, тиранической силы, подавляющей и польский и русский народы, — Мицкевич переносил и на Петра Великого. Никакой принципиальной разницы между Петром I, Александром I и Николаем I он не усматривал. Петр был в его глазах лишь основоположником Российской Империи, ставшей ко времени Мицкевича тюрьмой народов; ни малейшего положительного содержания в деятельности первого русского императора он поэтому не признавал. В «Памятнике Петру Великому» Мицкевич свое понимание и свою оценку Петра развил от имени Пушкина. Но несомненно, что для Пушкина самый подход Мицкевича к разрешению проблемы Петра был неприемлем.

П. А. Вяземский, который, судя по его пометке на полях «Медного всадника» \ был не только свидетелем, но в какой-то мере и участником беседы двух великих поэтов у памятника Петру I, писал в 1873 году по поводу стихотворения Мицкевича: «...поэт приписывает Пушкину слова, которых он, без сомнения, не говорил; но это поэтическая и политическая вольность: ни дивиться ей, ни жаловаться на нее нельзя» 1 2«

Из этого, однако, не следует, что Мицкевич целиком придумал свой разговор с Пушкиным.

Мог ли Пушкин говорить Мицкевичу о «тиранстве» Петра? Бесспорно, мог. В публицистических и исторических набросках Пушкина эта тема разрабатывалась неоднократно. Но, разумеется, по Пушкину, проблему Петра она отнюдь не исчерпывала. Для обрисовки идеологического фона эпохи нелишне вспомнить, как относились к самовластию Петра во второй половине двадцатых годов. Большой интерес в этой связи представляет выдержка из дневника С. П. Шевырева (от 28 декабря 1830 года): «Идея Геркулеса есть сила физическая, в высшей степени одушевленная любовью к благу человечества. Геркулес — деспот, но деспот, заключающий в себе идеал человека. Геркулес (или Геркулесы) непременно существовали в то время, когда общество человеческое еще не было устроено, когда людям нужна была палица, да страхом водворялись добродетели. Деспот, одушевленный благом человечества, есть бог воплощенный. Такие деспоты не только [не] вредны, но необходимы. У нас такой Геркулес был Петр... Петр и Геркулес — одно явление. Геркулес водворяет человечество в людях; Петр водворяет Европейство (т. е. образованное человечество) в Россиянах. Оба — деспоты; оба — боги воплощенные»³. Пушкин вопрос о Петре ставил иначе, чем Шевырев, скатывавшийся к апологии самодержавия. Он различал в деятельности Петра две стороны, которые, как он считал, находились в явном противоречии друг с другом. Зародыш такого взгляда на Петра можно найти еще в «Заметках по русской истории XVIII века» 1822 года; с не допускающей никаких кривотолкований точностью он был сформулирован в 1835 году в подготовительных текстах к «Истории Петра I»:

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для

вечности, или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика.

NB (Это внести в Историю Петра, обдумав)».

Совершенно очевидно, что Мицкевич в своем стихотворении чрезвычайно односторонне истолковал слова, сказанные ему Пушкиным: сделав ударение на отрицательных, с точки зрения Пушкина, чертах Петра, он прошел мимо того, что Петр делал «для вечности, или по крайней мере для будущего», то есть мимо того, что для Пушкина в Петре являлось основным, главенствующим.

Так обстоит дело с историческими воззрениями великого русского поэта. Каково же соотношение их с, изображением Петра в художественном творчестве Пушкина? Воплотил ли Пушкин в своих художественных произведениях все то, что он знал и мог бы сказать о Петре I? Думаю, что ответ на этот вопрос должен быть дан отрицательный: Пушкин не воссоздал, да и не стремился воссоздать образ Петра во. всех его противоречиях. Как показывает приведенная только что запись, даже в 1835 году Пушкин мысль о разности «между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами» собирался внести лишь в «Историю Петра» — в «Историю», эта оговорка имеет очень большое значение, — но никак не в поэзию. Как поэт, Пушкин добивался другого — возможно рельефнее выявить те качества Петра, благодаря которым он смог совершить свой исторический подвиг и

придал мощно бег державный Рулю родного корабля.

Споры с Мицкевичем должны были, думается, укрепить Пушкина в его взглядах на историческую роль Петра I. Как прямой отклик на беседу у памятника Петру звучат в эпилоге «Полтавы» строки:

В гражданстве северной державы,

В ее воинственной судьбе,

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,

Огромный памятник себе.

Глубоким смыслом исполнено здесь взятое из декабристского словаря определение «гражданство». Дело, которое отстаивал Петр, «гражданство северной державы», не отождествлялось Пушкиным с тиранией современного ему самодержавия. Своей выразительной формулой Пушкин как бы подчеркнул отрицаемую Мицкевичем историческую прогрессивность дела Петра.

С великим польским поэтом Пушкин говцрил не только о Петре, но и о Мазепе. Этот второй обмен мнениями между поэтами имел место, по-видимому, значительно позднее, чем первый, — уже тогда, когда «Полтава» писалась, или даже после ее окончания. О беседе их рассказал в своих мемуарах Кс. Полевой, но, к сожалению, очень коротко, мимоходом: «...при мне [в гостинице Демута] Пушкин объяснял Мицкевичу план своей еще неизданной тогда «Полтавы» (которая первоначально называлась «Мазепой») и с каким жаром, с каким желанием передать ему свои идеи старался показать, что изучил главного героя своей поэмы. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица»

Под главным героем поэмы Пушкина Полевой подразумевает, конечно, не Петра, а Мазепу. Не удивительно, что Мицкевич, который с такой враждебностью относился к Петру, к его антагонисту подходил гораздо сочувственнее. В своих возражениях Пушкину относительно характера гетмана он мог опираться не столько на исторические источники, сколько на литературные произведения — «Войнаров-ского» Рылеева и «Мазепу» Байрона. Последний как раз в этот период имел на

Мицкевича необычайно сильное влияние (о чем писал, между прочим, Баратынский в стихотворении 1828 года «Не подражай: своеобразен гений»).

Однако образ Мазепы, созданный Байроном, был отвергнут Пушкиным так же, как и образ Мазепы, созданный Рылеевым. Рылеева Пушкин критиковал за «своевольное» искажение исторического лица. Что же касается байроновского Мазепы, то он оказался для Пушкина неприемлемым вследствие полной своей неисторичности. В заметке о «Полтаве» 1830 года Пушкин писал: «Байрон знал Мазепу только по Воль-теровой «Истории Карла XII». Он поражен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, и за то посмотрите, что он из нее сделал. Но не ищите тут ни Мазепы, ни Карла...»

Надо думать, таким образом, что, споря с Мицкевичем и о Петре и о Мазепе, Пушкин выдвигал один и тот же аргумент — историю. И Пушкин и Мицкевич остались каждый при своей точке зрения. Об этом, кажется, свидетельствуют и подарки, которыми перед отъездом Мицкевича за границу обменялись в 1829 году поэты. Пушкин подарил Мицкевичу экземпляр «Полтавы», вышедшей в свет в последних числах марта 1829 года. По весьма вероятной догадке М. А. Цявловского *, в ответ на этот подарок Мицкевич со своей стороны подарил Пушкину собрание сочинений Байрона в одном томе {на английском языке}, на котором по-польски написал: «Байрона Пушкину посвящает поклонник обоих — А. Мицкевич» (эта книга сохранилась в личной библиотеке Пушкина).

Мицкевич и Пушкин жили в эпоху, когда, по выражению Герцена, «время взаимного понимания между поляками и русскими еще не настало». Это обстоятельство наложило свой отпечаток и на отношения поэтов. Но в их дружеском общении друг с другом, в их дискуссиях и разговорах, в их поэтической деятельности закладывались основы будущего взаимопонимания обоих братских народов. Общеизвестно, как высоко ценил Пушкин Мицкевича. Беседы и споры с ним по вопросам, затронутым на предыдущих страницах*, не могли пройти и не прошли для Пушкина бесплодно. Они побудили великого русского поэта развить и уточнить свои взгляды на историческую значимость Петра и оказали несомненное влияние на обрисовку его образа в «Полтаве».

IV

В исследовательской литературе много раз подчеркивалось, что во время создания «Полтавы» Пушкину упорно сопутствовала мысль о декабристах, или, точнее, о разгроме декабристского движения и казни Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. То, что между «Полтавой», с одной стороны, и событиями 14 декабря 1825 года и

13 июля 1826 года, с другой стороны, существует какая-то связь, можно считать сейчас бесспорно установленным. Сложность заключается, однако, в том, чтобы правильно истолковать характер этой связи. Это тем более сложно, что читательским восприятием (по крайней мере, людей нашего времени) такая связь совершенно не улавливается.

Необходимо поэтому прежде всего проверить, какие имеются объективные основания полагать, что Пушкин, создавая свою поэму, думал о восстании

14 декабря и расправе, учиненной Николаем после подавления восстания. Основания для этого у нас следующие.

Во-первых, в «Полтаве» частично развиваются, частично переосмысливаются мотивы, взятые из «Войнаровского» Рылеева. Невозможно допустить, чтобы Пушкин, работая над произведением, столь тесно связанным с поэмой Рылеева, не задумывался при этом над судьбой ее автора —

одного, из наиболее выдающихся руководителей декабристского движения, окончившего свою жизнь на николаевской виселице.

Во-вторых, работа Пушкина над образом Петра в «Полтаве» является непосредственным продолжением его работы над «Стансами», в которых Петр сопоставляется с Николаем и в которых поэт призывал последнего: «будь... памятью, как он, незлобен». Трудно предположить, чтобы Пушкин в процессе писания «Полтавы» позабыл об этом своем многозначительном сопоставлении, сделанном именно в связи с декабрьским восстанием.

В-третьих, в черновиках посвящения «Полтавы» мы находим строки:

[Что ты единая святыня]

[Что без тебя свет]

[Сибири хладная пустыня].

Поэт говорит здесь, очевидно, о том, чем был бы для него мир без той, к которой обращено посвящение С И для того, чтобы охарактеризовать свое собственное положение, он вспоминает о положении сосланных декабристов.

И, наконец, последнее. Черновики первой песни «Полтавы» испещрены многочисленными рисунками, изображающими в различных вариациях казнь декабристов. В пушкинских рукописях такое обилие рисунков — и притом на такую тему, столь болезненно воспринимавшуюся Пушкиным, — представляет, без сомнения, случай уникальный.

Таковы факты, в которых нам следует разобраться, в первую очередь — для уяснения психологии творчества Пушкина, а затем и для более полного раскрытия идейной и художественной проблематики его замечательного творения.

Пожалуй, о мыслях и настроениях Пушкина, владевших им, когда он приступал к «Полтаве», с особой наглядностью говорят как раз изображения казненных в черновиках поэмы. Эти изображения были впервые опубликованы А. М. Эфросом и потом вошли в его уже упоминавшуюся нами книгу «Рисунки поэта» *.

По мнению Эфроса, переживания Пушкина, отразившиеся в его рисунках на полях «Полтавы», — прямой результат двух «дел», которые возбудило против него николаевское правительство: дела о «преступном отрывке» из элегии «Андрей Шенье», тянувшегося с сентября 1826 года по июль 1828 года, и дела о «Гавриилиаде», возникшего во второй половине 1828 года. Переживания эти, как указывает исследователь, сказались и в некоторых пушкинских стихотворениях.

«Если в конце мая (1828 года. — Г. Л.) Пушкин пишет элегически-усталое: «Дар напрасный, дар случайный...», то роковой август приносит уже сигнальные стихи: «Снова тучи надо мною — Собралися в тишине...» Они определены, но их метафорическое проявление внутренней тревоги не дает представления о действительном состоянии Пушкина, когда ожидание оказалось реальностью и дело стало разворачиваться. Только сейчас, сопоставляя несколько строк из его стихотворений конца 1828 года с этими тремя рисунками «Полтавы», мы можем утверждать, что Пушкин чувствовал себя в таком же положении, в каком были декабристы во время следствия. Он переживал это мучительно. Он внутренне, по-настоящему, объединял теперь их судьбу со своей. Видимо, самочувствие его порою доходило до такой потрясенности, что он даже примеривал, — как это делал не раз и в других случаях, — судьбу пяти смертников к себе. Эти рисунки черновиков «Полтавы» надо сопоставить с настойчивыми мыслями о виселице, которые мы встречаем в интимных стихах этой поры к Е. П. Полторацкой («Когда помилует нас бог, — Когда не буду я повешен...») и к Ек. Н. Ушаковой («Вы ж вздохнете ль обо мне, — Если буду я повешен?»), чтобы

через внешнюю полушутливость строк засквозило настоящее, глубоко пережитое чувство обреченности и позорной смерти» *.

Приведенные соображения нетрудно было бы подкрепить рядом дополнительных аргументов. В частности, цитированный выше черновой вариант посвящения «Полтавы» также показывает, насколько родственными поэту казались его судьба и судьба декабристов.

Надо заметить, однако, что анализ А. М. Эфроса объясняет лишь, как изображения виселицы и повешенных связываются с личными переживаниями Пушкина в 1828 году. Но вопрос о том, почему эти рисунки появились именно среди черновиков «Полтавы», а не в какой-либо другой рукописи 1828 года, остается открытым.

Правда, А. М. Эфрос пишет далее, что чувство обреченности у Пушкина «искало себе выхода и получило исключительную яркость в описании томления и казни Кочубея». В какой мере с этой никак не мотивированной догадкой можно согласиться, будет ясно из следующей главы. Здесь же отметим, что, в каком бы состоянии духа Пушкин ни описывал казнь Кочубея, для понимания происхождения рисунков с телами повешенных оно ничего не дает. Томление и казнь Кочубея изображены Пушкиным во второй песне «Полтавы», а фигуры смертников он вырисовывал, когда работал над первой песней поэмы.

Следовательно, ассоциативные нити, соединяющие рисунки и текст, должны быть объяснены другим образом. Приглядимся более внимательно к тому тексту, который Пушкин сопровождал своими рисунками.

На листах с двумя изображениями виселицы с несколькими силуэтами висящих тел вчерне набросаны строки, характеризующие Марию и ее любовь к Мазепе. Вот вид, который это место приняло в окончательной редакции:

Зачем так тихо за столом Она лишь гетману внимала,

Когда беседа ликовала И чаша пенилась вином;

Зачем она всегда певала Те песни, кои он слагал,

Когда он беден был и мал,,

Когда молва его не знала;

Зачем с неженскою душой Она любила конный строй И бранный звон литавр и клики Пред бунчуком и булавой Малороссийского владыки...

На другом листе рядом с рисунками — три трупа, повисшие на одной перекладине, — мы находим наметки будущих строк: «В толпе казаков... — Презренных девою несчастной... — Когда же вдруг меж казаков— Ее поступок огласился... — И беспощадная молва — Ее стыдом... — Над ним старинные права—Мария сохранила...» И эти строки, как читатель видит, имеют прямое отношение к характеристике Марии.

Стало быть, отсюда можно заключить (если принять за исходный пункт «автобиографизм» пушкинских рисунков в «Полтаве»): Пушкин путем сложных ассоциаций от раздумий над образом Марии переходил к раздумьям над собственной своей судьбой, которую затем он сравнивал с судьбой декабристов.

Но допустимо ли — хотя бы гипотетически — приписывать Пушкину такого рода ассоциации? Да и какой в них смысл? Что общего между дочерью Кочубея и поэтом?

На первый взгляд, действительно, мысль о таком сближении должна показаться парадоксальной. Но, понятно, руководствоваться нужно не тем, что нам лично кажется парадоксальным или естественным; руководствоваться следует представлениями самого Пушкина, поскольку мы в состоянии их выяснить. В данном случае это нам доступно, так как параллель между поэтом и девой творчеству Пушкина отнюдь не чужда.

Напомним известную строфу из «Езерского», в которой такая именно параллель проводится:

Зачем крутится ветер в овраге,

Подъемлет лист и пыль несет,

Когда корабль в недвижной влаге Его дыханья жадно ждет?

Зачем от гор и мимо башен Летит орел, тяжел и страшен,

На черный пень? Спроси его.

Зачем арапа своего Младая любит Дездемона,

Как месяц любит ночи мглу?

Затем, что ветру и орлу И сердцу девы нет закона.

Гордись: таков и ты, поэт,

И для тебя условий нет.

Другая вариация того же мотива:

Таков поэт: как Аквилон,

Что хочет, то и носит он —

Орлу подобно, он летает И, не спросись ни у кого,

Как Дездемона избирает Кумир для сердца своего.

Если учесть, что Пушкин усиленно подчеркивал сходство любви Марии к Мазепе и Дездемоны к Отелло, то ход ассоциаций Пушкина во время работы над первой песней «Полтавы» восстанавливается более или менее точно.

Мария с ее «неженскою душой», бежавшая своенравно семейственных оков, превыше всех законов поставившая свою любовь, обладала в глазах Пушкина такими качествами, которые были свойственны и ему самому. Ведь и он, подобно Марии, шел «дорогою свободной» — и в жизни, и в творчестве; ведь и он следовал велениям своего сердца, преступая законы, которым так усердно стремились подчинить его и светская чернь и самодержавное государство.

Но Пушкин отлично представлял себе опасности, грозившие ему на этом пути. Его не раз осаждали мрачные предчувствия, а иногда он даже сожалел, что не ищет счастья на обычных путях¹. Об этих своих настроениях он писал еще в первой половине 1825 года, в элегии «Андрей Шеньев»:

Куда, куда завлек меня враждебный гений? Рожденный для любви, для мирных искушений,

Зачем я покидал безвестной жизни тень,

Свободу и друзей, и сладостную лень?
Зачем от жизни сей, ленивой и простой,

Я кинулся туда, где ужас роковой,

Где страсти дикие, где буйные невежды,

И злоба, и корысть! Куда, мои надежды,

Вы завлекли меня! Что делать было мне,

Мне, верному любви, стихам и тишине.

На низком поприще с презренными бойцами!

Мне ль было управлять строптивыми конями И круто напрягать бессильные бразды?

И что ж оставляю я? Забытые следы Безумной ревности и дерзости ничтожной.

Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,

Ты, слово, звук пустой...

Однако тот же «Андрей Шенье» показывает, как Пушкин преодолевает такие свои настроения:

Умолкни, ропот малодушный!

Гордись и радуйся, поэт:

Ты не поник главой послушной Перед позором наших лет:

Ты презрел мощного злодея...

Так, повторяем, Пушкин писал в первой половине 1825 года, задолго до поражения декабрьского восстания.

В 1828 году, в момент чрезвычайно тревожный и острый, когда над ним снова угрожающе «собрались тучи», он спрашивал себя:

Сохраню ль к судьбе презренье?

Понесу ль навстречу ей Непреклонность и терпенье Гордой юности моей?

Таким образом, рисунки в рукописи «Полтавы» имеют прямое отношение к тексту.

«Своенравие» Марии повело к казни ее отца и к гибели самой девушки. Мария занимает первое место среди многочисленных пушкинских персонажей, кончивших безумием, — а мы знаем, как это состояние страшило поэта. Создавая образ Марий, размышляя над ним, Пушкин, по-видимому, невольно сопоставлял свою героиню с самим собой и, окидывая взглядом ее жизненный путь, задавался вопросом: к чему же может привести его собственное «своенравие»,

его непреклонность и гордость, его упорное желание идти «дорогою свободной», не склоняясь «главой послушной перед позором наших лет»? Рисунки в «Полтаве» дают ответ Пушкина, ответ, который в словесной форме ему, надо думать, было бы чересчур тяжело высказать: смерть на виселице, такая же, как у декабристов.

Пушкинская графика, правильно истолкованная, помогает нам яснее представить себе, как протекал у Пушкина творческий процесс. Но не только к этому сводится ее значение. Она позволяет более глубоко понять и содержание «Полтавы», раскрывая связь идейно-художественной проблематики этой поэмы (в части, касающейся Марии) с проблематикой других пушкинских произведений и в числе их «Андрея Шенье» *.

- В «Андрее Шенье» друг другу противопоставлены, как мы видели, обычная колея, проторенная дорога личного счастья, жизнь «для любви, для мирных искушений», с одной стороны, и путь политической борьбы, путь исторического действия, «где ужас роковой, где страсти дикие», с другой стороны. Первый путь при этом всемерно приукрашивается, о втором поэт отзывается как о «низком поприще с презренными бойцами». И все же он выбирает этот второй путь, ведущий к плахе. Когда

Над нами

Единый властвует топор —

и в силах поэта казнить своим стихом «сих палачей самодержавных», поступить иначе было бы непростительным малодушием.

Так вскрывается в «Андрее Шенье» неизбежная, с точки зрения Пушкина, в условиях «жесточкого века» противоречивость и антагонистичность частной жизни и истории. Однако отказ от безмятежного личного счастья является в этой элегии добровольным; возможность выбора оставалась за поэтом.

В «Полтаве» противоречие между частной жизнью и историей приняло иной вид. Помыслы Марии, хотя признания Мазепы и вызывают восторг — к его седидам так пристанет корона царская, — это только помыслы о личном счастье. Но ей приходится бороться за свое счастье: оно достается ей — в первой части поэмы — ценою разрыва с отцом и матерью. Если бы частная жизнь и история были отделены друг от друга так, как это изображено в «Андрее Шенье», то рассказ о Марии не имел бы в поэме продолжения (или, вернее, не было бы и самой поэмы, потому что именно в этом «продолжении» Пушкин и видел ее сущность). Но в «Полтаве» частная жизнь и история теснейшим образом переплетаются: любовник в Мазепе уступает гетману, и гибель Марии предстает как пусть незаметное, но закономерное следствие столкновения гигантских исторических сил.

По сравнению с «Андреем Шенье» пушкинское представление о противоречиях действительности приобрело в «Полтаве» новый, более конкретный и более трагический смысл. Чрезвычайно, однако, характерно для Пушкина, что он не ограничивался одной лишь констатацией этих противоречий; он настойчиво искал выхода и видел его в самой истории, в поступательном движении России вперед. К исторической точке зрения он апеллировал в тяжелые дни суда над декабристами, когда в начале февраля 1826 года писал Дельвигу: «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». К исторической точке зрения он апеллировал и в «Полтаве», вводя в поэму колоссальный образ Петра.

Связь, обнаруженная нами между «Полтавой» и «Андреем Шенье», равно как и то обстоятельство, что «Полтава» писалась в 1828 году, когда затянувшееся дело о «преступном» отрывке из «Андрея Шенье» приняло явно неблагоприятный для Пушкина оборот, заставляет нас обратить особое внимание на текстуальные совпадения в обоих пушкинских произведениях.

Большинство из них, правда, не очень значительно; привести их, однако, как нам кажется, будет нелишне:

Ты презрел мощного злодея;

Твой светоч, грозно пламенея,

Жестоким блеском озарил...

(«Андрей Шенье»)

Но кто ж, усердьем пламенея,

Ревнуня к общему добру.

Донос на мощного злодея...

(«Полтава»)

Звучат ключи, замки, запоры.

(«Андрей Шенье»)

Но ключ в заржавом Замке гремит...

(«Полтава»)

Заутра казнь.

(«Андрей Шенье»)

Заутра казнь.

(«Полтава»)

Более показательна однородность ряда стилистических элементов в «Андрее Шенье» и в «Полтаве». Хочется отметить, в частности, что славянизмы, усеченные формы и т. п., характеризующие стиль «Полтавы» и с некоторой иронией встреченные многими современниками*, обильно были представлены еще в «Андрее Шенье» («Сошедшая в могильну сень», «Подъялась вновь усталая секира», «Я зрел, как их могущи волны», «Святых изгнанников входили славны тени», «К решетке поднял важны взоры» и т. д.).

Наибольшее значение, однако, имеет автореминисценция из «Андрея Шенье» в одной из основных сцен «Полтавы» — сцене казни Кочубея и Искры.

Описание этой казни в поэме Пушкина:

И вот

Идут они, взошли. На плаху,

Крестьясь, ложится Кочубей.

Как будто в гробе, тьмы людей Молчат. Топор блеснул с размаху,

И отскочила голова.

Все поле охнуло. Другая Катится вслед за ней, мигая.

Зарделась кровию трава —

И, сердцем радуясь во злобе,

Палач за чуб поймал их обе И напряженной рукой Потряс их обе над толпой, —

обычно сопоставляют (вполне обоснованно, разумеется) с соответствующим местом из «Войнаровского»:

Вот, вот они... При них палач!

Вот их взвели уже на плаху.

Кругом стенания и плач...

Готов уж исполнитель муки;

Вот засучил он рукава,

Вот взял уже секиру в руки...-

Вот покатилась голова...

И вот другая!.. Все трепещут!

Смотри, как страшно очи блещут...

Но необходимо в этой связи припомнить также и строки «Андрея Шенье»:

Я плахе обречен. Последние часы Влачу. Завтра казнь. Торжественной рукою Палач мою голову подымет за волосы Над равнодушною толпою.

В «Полтаве» Пушкин как бы объединил два изображения казни. Для того чтобы ярче нарисовать картину расправы с Кочубеем и Искрой, он не ограничился подробностями, взятыми из поэмы Рылеева, повешенного Николаем, он прибавил к ним еще одну потрясающую деталь из своей собственной «автобиографической», «пророческой» элегии.

Факт, бесспорно, знаменательный! Зная обстановку, в которой возникла «Полтава», мы вправе предположить, что Пушкин, создавая эту сцену, ассоциировал казнь Кочубея и с казнью декабристов и с участью, которой он избег в прошлом *, но которую, видимо, в минуты отчаяния он считал для себя возможной в будущем.

Основным виновником гибели Кочубея и Искры в «Полтаве» (как и в истории) выступает Мазепа, для которого Пушкин не жалеет гневных эпитетов. «Злодей», «злой старик», «старец дерзновенный», «Иуда», «изменник русского царя» — с теми или иными видоизменениями повторяется на протяжении всей поэмы. Но казнь Кочубея последовала не только вследствие холодной дерзости Мазепы; известная доля вины за нее ложится и на Петра, «предубежденного» в пользу гетмана 1 2. Тут мы тоже с большой степенью вероятности можем говорить об

ассоциативном подтексте у Пушкина, поскольку, как мы указывали раньше, работа Пушкина над образом Петра в «Полтаве» является непосредственным продолжением его работы над «Стансами», в которых Петр сопоставлялся с Николаем.

Казнь Кочубея — это очень отчетливо выявлено в «Полтаве» — была явной и неоспоримой ошибкой Петра, ошибкой, которую Петр потом постарался исправить и загладить. Несомненно, что Пушкин (в особенности во второй половине двадцатых годов) и казнь декабристов считал также ошибкой Николая, в добрые намерения которого ему хотелось верить, а не закономерным актом общей реакционной политики царя. Потому-то и могла так часто, по всякому удобному и неудобному поводу, появляться у Пушкина надежда, что царь «того и гляди... наших каторжников простит».

Однако, — чего не понимали в прошлом ни реакционные пушкинисты, ни «вульгарные социологи», — такое умонастроение не было у Пушкина сколько-нибудь прочным. Не видя возможностей для действительного изменения положения вещей, Пушкин предавался порой иллюзиям. Но, как великий реалист, он отлично сознавал тем не менее, что все его надежды на Николая — это надежды на «авось».

Авось по манью [Николая]

Семействам возвратит [Сибирь],—

с тяжелым чувством, едва прикрытым насмешкой, писал он в десятой, сожженной главе «Онегина».

Еще меньше мог думать поэт, что Николай захочет исправить свою «ошибку», в сентябре — октябре 1828 года, когда на полях «Полтавы» вычерчивались фигуры пяти смертников. Наоборот, в этот момент у Пушкина были все основания опасаться, что и его постигнет участь декабристов — не повешенных, так сосланных — и он поедет «прямо, прямо на восток».

Ассоциации между Петром и Николаем, которые в ходе работы над «Полтавой» являлись, пожалуй, для Пушкина неизбежными, должны были при таких условиях повлечь за собой не сопоставление, а скорее противопоставление этих двух самодержцев. Петр I в поэме Пушкина осуществляет то, чего в действительности Пушкин не может дожидаться от Николая I.

Свое отношение к Петру Пушкин подчеркнул в «Полтаве» эпиграфом:

The power and glory of the war,

Faithless as their vain votaries, men,

Had pass'd to triumphant Czar.

Byron

(Мощь и слава войны, как и люди, их суетные поклонники, перешли на сторону торжествующего царя. Байрон.)

В заметке 1830 года о «Полтаве» Пушкин писал по поводу эпиграфа: «В «Вестнике Европы» заметили, что заглавие поэмы ошибочно и что, вероятно, не назвал я ее Мазепой, чтоб не напомнить о Байроне. Справедливо, но была тут и другая причина: эпиграф. Так и «Бахчисарайский фонтан» в рукописи назван был Харвмом, но меланхолический эпиграф (который конечно лучше всей поэмы) соблазнил меня».

Любопытно, что Пушкин в связи с эпиграфом к «Полтаве», взятым у Байрона, вспомнил об эпиграфе к «Бахчисарайскому фонтану», взятом у Саади: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече». После поражения восстания 14 декабря Пушкин, как известно, стал применять это изречение Саади к декабристам (см. «Евгений Онегин», гл. VIII).

Каков же в «Полтаве» торжествующий царь, царь-триумфатор? В чем заключается политический смысл эпиграфа? Одержавший победу Петр в поэме Пушкина прежде всего великодушен и не мстителен. В этом поэт в «Полтаве», как и ранее в «Стансах», видит существеннейшую черту Петра. Но в «Стансах» то, что Петр «памятью незлобен», отмечено одной весомой строкой; в «Полтаве» она развертывается Пушкиным в целую картину:

Пирует Петр. И горд и ясен.

И славы полон взор его.

И царский пир его прекрасен.

При кликах войска своего,

В шатре своем он угощает Своих вождей, вождей чужих.

И славных пленников ласкает.

И за учителей своих Заздравный кубок подымает.

Разумеется, Пушкин, так трактуя Петра, не просто следовал за историческим материалом, а активно отбирал его для своих целей. Характерно в этом отношении, что с описанием пира Петра в «Полтаве» явно перекликается «Пир Петра Первого» в стихах 1835 года, где Петр

...с подданным мирится;

Виноватому вину

Отпуская, веселится;

Кружку пенит с ним одну;

И в чело его целует.

Светел сердцем и лицом;

И прощенье торжествует.

Как победу над врагом.

В «Стансах», «Полтаве», «Пире Петра Первого» Пушкин на протяжении десяти лет настойчиво рисо-

«было всеми понято и доставило большой ход журналу. В статье все жалуются на два последних года, т. е. 1825 и 1826—время отлучки [И. И.] Тургенева и ссылки бунтовщиков. Все так ясно изъяснено, что не требует пояснений». Действительно, слишком прозрачен намек на декабристов в словах статьи: «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто с грустью повторяю слова Сади или Пушкина, который нам передал слова Сади: «Одних уж нет, другие странствуют да-, яко» (Н. О. Лернер. «Пушкнологические этюды». «Звенья», V. М.—Л., 1935, стр.

НО). вал образ исторического деятеля, светлого сердцем и лицом, во всем противоположного своим преемникам на троне —тиранам самодержавия.

Оставь герою сердце; что же

Он будет без него? Тиран! —

с горечью восклицал поэт в стихотворении 1830 года, посвященном Николаю I.

Петр в поэзии Пушкина неизменно оставался подлинным героем, героем, у которого есть сердце. В этом Пушкин, восславивший свободу в жестокий век Александра и Аракчеева, Николая и Бенкендорфа, видел особую значимость и притягательность образа Петра.

VI

Отражая нападки «Сына Отечества» и «Вестника Европы» на «Полтаву», Пушкин разобрал и высмеял в заметке 1830 года почти все возражения, выставленные критиками против его поэмы. Он в чрезвычайно резких и определенных выражениях отстаивал историчность характеров действующих лиц «Полтавы», психологическое правдоподобие любви Марии к старому гетману, наконец, язык своего произведения. Но один упрек, обращенный к нему, поэт обошел молчанием. Мы имеем в виду упрек в композиционной неслаженности и недостаточной целостности «Полтавы», который брошен был Пушкину и анонимным критиком болгаринского «Сына Отечества», но который в особенно грубой форме был сделан Н. И. Надеждиным. «Странное дело!.. — восклицал Надеждин. — В этом поэтическом издании, носящем величественное имя Полтавы, сама Полтава составляет такой неприметный уголок, что его едва и отыскать можно. Описание Полтавского сражения, вставленное в третью песнь Поэмы, столь маловажно для целого ее состава, что при совершенном уничтожении оно потеряла бы только толщина книжки».

Почему же, спрашивается, в своей отповеди Булгарину и Надеждину Пушкин не остановился на вопросе о плане своей поэмы? Косвенный, но оттого не менее выразительный ответ мы находим в пушкинской рецензии на альманах «Денница».

Рецензия эта полностью (за исключением вступительного абзаца) посвящена изложению и разбору «Обозрения русской словесности 1829 года» И. Киреевского, которое получило очень высокую оценку Пушкина. Вообще говоря, не слишком щедрый на похвалу критикам, Пушкин про «сочинение г-на Киреевского» писал, что это «замечательнейшая статья сего альманаха, статья, заслуживающая более, нежели беглый взгляд рассеянного читателя» *.

Для наших целей и «Обозрение» Киреевского и отношение к нему Пушкина представляют особую ценность, так как в статье Киреевского немало говорится о «Полтаве», а из рецензии Пушкина видно, как он воспринял критические замечания Киреевского о своем произведении.

Выписываем соответствующее место пушкинской рецензии:

«В число исторических сочинений г. Киреевский включает и поэму «Полтаву». «В самом деле, — говорит он, — из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней люди и происшествия. — Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину». Признавая в сей поэме большую зрелость таланта, он осуждает в ней недостаток единства интереса, «единственного из всех единств, коего несоблюдение не прощается законами либеральной поэтики». Этим изъясняет он малый успех, который имела последняя и едва ли не лучшая из поэм А. Пушкина».

По понятным причинам эти строки сдержанны — Пушкин ограничивается лишь изложением мнения Киреевского о своей поэме, — но нам кажется, мы не ошибемся, сказав, что в этих строках недвусмысленно выражено согласие поэта с критиком.

Киреевский писал в своей статье о «Полтаве»:

«...если мы будем смотреть на Полтаву, как на зеркало дарования, то увидим, что она дает нам право на большую надежду в будущем, нежели все прежние поэмы Пушкина. Но зато, если мы будем рассматривать ее в отношении к ней самой, то найдем в ней такие несовершенства, которые хотя несколько объясняют нам, почему публика приняла ее не с таким восторгом, какой обыкновенно возбуждают в ней произведения Пушкина. Главное из сих несовершенств есть недостаток единства интереса, единственного из всех единств, которого несоблюдение не прощается законами либеральной Пиитики. Если бы поэт сначала возбудил в нас участие любви или ненависти к политическим замыслам Мазепы, тогда и Петр, и Карл, и Полтавская битва были бы для нас развязкою любопытного происшествия. Но посвятив первые две песни преимущественно истории любви Мазепы и Марии, Пушкин окончил свою повесть вместе с концом второй песни, и в отношении к главному интересу поэмы всю третью песнь можно назвать почти лишнею» Ч

Эстетическая обоснованность критических суждений Киреевского (если брать их в основном, не касаясь частных) вряд ли может быть оспорена. Они не расходятся и с позднейшим отзывом Белинского, который находил, что «Полтава» — «великое произведение по ее частностям» — лишена в то же время «единства мысли и плана». «Она, — писал великий критик, — заключает в себе несколько поэм и по тому самому не составляет одной поэмы»^{1 2}. Как бы то ни было, мнение Киреевского о «Полтаве» не только не встретило возражений со стороны Пушкина, но, напротив, было им приведено как, очевидно, правильное объяснение «малого успеха» поэмы. —

Признавая «недостаток единства интереса» в «Полтаве», Пушкин, однако, продолжал считать, что она — «едва ли не лучшая» из его поэм. Композиционные недочеты «Полтавы» не могли, с точки зрения поэта, повлиять на оценку ее по существу. «Полтава», как ее задумал Пушкин, и не должна была стать ни поэмой о любви Марии и Мазепы, ни поэмой о борьбе Петра со своими врагами. Замысел Пушкина состоял как раз в слиянии двух этих тем, без чего неосуществимо было образное раскрытие мучительно переживавшихся поэтом «противоречий сущности», противоречия частной жизни и истории.

В художественные намерения Пушкина входило выявление двух правд, правды Петра и правды Марии', — их соотношением в «Полтаве» и определяется главная мысль поэмы.

С особенной отчетливостью это соотношение двух линий «Полтавы» дано в заключительной ее части, где Пушкин в восторженных выражениях описывает памятник, что воздвиг себе герой Полтавы и где о Марии говорят скорбные и сочувственные строки, заканчивающие эпилог и вместе с ним всю поэму:

Но дочь преступница... преданья Об ней молчат. Ее страданья,

Ее судьба, ее конец Непроницаемою тьмою От нас закрыты. Лишь порою Слепой украинский певец,

Когда в селе перед народом Он песни гетмана бренчит,

О грешной деве мимоходом Казачкам юным говорит.

Полной слитности обеих линий, линии истории и линии частной жизни, Пушкину в «Полтаве» достичь не удалось. Эта задача была разрешена им лишь впоследствии, в «петербургской

повести» «Медный всадник», в которой, как и в «Полтаве», одним из центральных героев является величайший деятель русской истории, «мощный властелин судьбы» — Петр.

* * *

«Полтава» — одно из основных произведений Пушкина, необходимое звено в развитии его творчества.

Как показывает анализ, возбуждениям личного порядка в подготовке и созревании замысла «Полтавы» должно быть отведено заметное место. Напряженная работа Пушкина-художника над этой поэмой неразрывно связана с глубоко интимными переживаниями поэта, с его горькими раздумьями над своей будущностью, с его постоянными опасениями за свою свободу, а подчас даже и жизнь.

Но вместе с тем, — что мы также стремились выше показать, — тягостные эти переживания и раздумья теснейшим образом сочетались у Пушкина с острым осознанием того, что все испытываемое им в личном плане обусловлено общественным значением его поэтической деятельности, обусловлено его верностью своему призванию певца, лира которого

не изменилась до конца!

Вопрос о несовместимости с политическим режимом тогдашней России свободы личной и свободы творческой не был для Пушкина ни в какой мере абстрактным, отвлеченным вопросом; он становился перед Пушкиным или, вернее сказать, навязывался Пушкину всей его биографией, всем его жизненным опытом. Вопрос этот непосредственно и больно его затрагивал, и он упорно и страстно искал для себя выхода из того положения, в каком он оказывался из-за «неправого гонения» правительства и его агентов.

Однако — и это в первую очередь следует подчеркнуть — при всей исключительной обостренности личных своих переживаний Пушкин был далек от того, чтобы рассматривать свою судьбу только с личной точки зрения. Он всегда старался осмыслить закономерность происходящего с ним и видел в своей индивидуальной драме одно из частных проявлений общих законов «жестокости века». В этом, между прочим, сказались с огромной силой реалистичность пушкинского мироощущения и миропонимания.

Пушкин был, бесспорно, в высшей степени объективным художником. Но он отнюдь не принадлежал к тому типу художников, которые, уходя в мир объективных образов, пытаются забыть при этом о своих субъективных побуждениях, отвлечься от того, что их лично волнует и тревожит. В «Полтаве», — поскольку о ней именно идет у нас речь, — нельзя не считаться с личной заинтересованностью поэта, явно ощущаемой в том, как он разрабатывает свой исторический сюжет.

Это не значит, конечно, что в «Полтаве» нужно искать прямых «применений» к событиям 1828 года или эпохи Николая I вообще, — их там нет. Но для того чтобы поэма эта могла возникнуть, «рок завистливый» должен был вновь угрожать «бедой» Пушкину и Пушкин должен был вновь с мучительным чувством перебирать свое отношение к декабристам, Александру I, Николаю I, к «ареопагу остервенелому» «сих палачей самодержавных».